



Александр Владимирович Орлов родился в 1975 году в Москве. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького, Московский институт открытого образования. Работает учителем. Публиковался в журналах «Подъём», «Наш современник», «Литературная учеба», «Сибирские огни», «Юность» и других изданиях, антологиях, альманахах. Автор четырех книг стихотворений и сборника прозы. Обладатель золотого диплома и лауреат международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» и ряда других литературных наград. Живет в Москве.

Александр Орлов

ВРЕМЯ ТИШИНЫ

Рассказы

*Светлой памяти
митрополита Калининского
и Кашинского
Алексия (Коноплева)*

Я быстро взбежал по лестнице, вызвал лифт и оказался на четвертом этаже. Как только двери лифта открылись, я увидел ожидавшего меня Лешку. Мы обменялись приветствиями, и он немного угрюмо сказал:

— Слушай, извини, давай спустимся вниз и деда моего поднимем. Его минуту назад привезли, с балкона видел.

— Давай!

Мы спустились бегом вниз по лестнице, уже у машины я поздоровался с Лешкиной мамой, и вместе с санитарями мы взяли Лешкиного деда, сидящего в кресле-каталке. Харлампий Иванович крепко спал. Аккуратно мы подняли его к лифту и потом на этаже внесли в квартиру.

Нам хотелось как можно скорее избавиться от неожиданных хлопот. На футбольном поле в Нескучном саду уже почти не осталось снега, и жажда первого удара по мячу, предвкушение игрового азарта, забитых голов и упущенных голевых моментов нас будоражили.

— Мам, ну мы пошли, — крикнул Леша, забыв о спящем родственнике.

— Лена, Леночка, где я? — вдруг раздался голос из дальней комнаты. Тетя Лена торопливо прошла мимо нас в комнату.

— На Воробьевы съезди. Скорее, милая моя, скорее... — слышался голос старика.

Мы стояли у квартирной двери, и я начал открывать замок, как вдруг тетя Лена вышла и, махнув рукой, позвала нас обратно.

— Ты что, мам? — спросил Лешка.

Тетя Лена повторила жестом, что нам надо вернуться. Мы стояли напротив нее в ожидании.

— Ты остаешься дома, посидите с дедушкой.

— Ну мам! Ты что? Нас ребята ждут! — расстроено воспротивился Лешка.

— Я сказала, что ненадолго! — резко бросила тетя Лена и торопливо скрылась за дверью.

Мы вошли в комнату, где лежал Харламий Иванович. Свет в помещение проникал через занавески, и в этом полумраке совсем исчезало ощущение весны, и только последняя капель напоминала о ней. Мы были огорчены. Бросить товарища я не мог, и мы смотрели друг на друга, не желая разговаривать.

— Воды, воды дайте... — попросил Харламий Иванович.

Мы словно по команде вышли из комнаты и принесли с кухни воды.

— Пить как хочется, — сказал Харламий Иванович. — Господи Боже мой, как тогда...

И он замолчал.

— Как тогда... — повторил он спустя несколько минут.

— Как тогда... — шепотом спародировал деда Лешка. Я заулыбался.

— Как тогда... — опять прохрипел Лешкин дед.

— Как когда, дедушка? — спросил с хулиганской усмешкой Лешка.

— Когда ранило меня под Ленинградом, мы там немцев крепко зажали, еще бы немного — и сварили бы их в котле под Демянском. Думал, умру, когда меня ранило. Они в прорыв пошли, к ним силы новые прибыли по воздуху, вот они и вырвались, а я уже в начале мая в госпитале валялся.

Харламий Иванович замолчал и сделал глоток. Он пил жадно, но по чуть-чуть.

— Парень со мной лежал. Внимательный такой. Витей звали, воронежский был, точнее, павловский: город такой есть — Павловск. Он тогда на поправку пошел, а ко мне все свое внимание направил. Вот как вы сейчас — и поддерживал меня, и воды приносил быстрее, чем медсестры, и ночами вставал. И дар у него, конечно, был. Святой парень.

— Какой дар? — спросил Лешка.

— Молился он Богу как-то особенно, — ответил Харламий Иванович.

Мы переглянулись и замолчали. Ощущение, что Лешкин дед перележал в больнице или не отошел после операции, нас объединило. Мы томнились в ожидании мамы, но Харламий Иванович хотел поговорить.

— Он мне рассказал перед выпиской, что до войны псаломщиком служил, за что и получил трешницу Свирских лагерей. Так-то. Витя, он внимательный был и обходительны — пока я стонал и тяжело мне было, он молился за меня, а порой о городе своем рассказывал. Словно водил меня по нему, да так, что я до сих пор думаю, что вместе с ним по городу святого апостола Павла гулял — и особняки, и женскую гимназию, и реальное

училище, и духовное, и поварную каланчу, и берег Дона, и собор Преображенский, и храмы я как будто сам видел. Но главное, что жизнью я ему, его мольбам и заботам обязан. Так я и на поправку пошел, и на фронт вернулся.

— Разве на фронт таким можно было идти? — не удержавшись, спросил я.

— Каким таким? Человек, как и все. Гражданин, хоть и прав был лишен гражданских за то, что служил при церкви. Голодал, в обносках ходил, а не изменил себе.

Харлампий Иванович жестом попросил подать ему кружку. Он делал маленькие глотки, а я думал, что первый футбольный матч этого сезона уже не состоится, и было неудобно перед ожидавшими нас ребятами.

— Но война все изменила? — из вежливости спросил я.

— Война не меняет, а выявляет в человеке в зависимости от его уклада. Она и есть чистилище. Настоящий человек себя проявит, как положено, а дрянной...

И в этот момент Харлампий Иванович слегка махнул рукой.

— А он выжил? — спросил деда Лешка.

— Выжил и у нас на Воробьевых горах служил в Троицкой церкви. Я там с ним случайно встретился лет через десять после победы. Он меня первым заметил, я бы его ни за что не признал. Ведь Витя священником стал. Да и постарше он меня лет на десять, а может, и побольше, но это неважно. Отец Виктор меня впервые и исповедовал.

— Дед, ты же честно жил, воевал, страну восстанавливал после войны. Тебе зачем что-то рассказывать чужому человеку? — удивленно спросил Лешка.

— Охо-хо-хо-хо... дорогой ты мой, случай мне один не давал покоя, а вот отцу Виктору поведал, и отпустило меня, хотя ночь одну буду помнить до конца жизни, а он ой как близок.

Мы ожидали рассказа о войне. Настоящего, геройского. Казалось, что сама весна выдает нам компенсацию за несыгранный первый матч. Я смотрел то на Лешу, то на Харлампия Ивановича с нескрываемым интересом. Фронттовики не любили говорить о войне, и редчайшие мгновения откровений порой были притягательнее и памятнее фильмов, которые мы смотрели не отрываясь, ради которых прогуливали уроки. Мы выросли с именами Владимира Богомолова, Юрия Бондарева, Василя Быкова, Константина Воробьева, Константина Симонова... Но главное, что я замечал на протяжении своих школьных лет, это то, что ветераны войны становились заметны в жизни страны только в великий день Победы 9 мая. Этот оставленный в прошлом, но незабытый фронтовой героизм сменила трудовая и бытовая скромность. Для меня олицетворением этих качеств был актер, фронтовик, инвалид Великой Отечественной войны Виктор Папанов, да и герои картин с его участием «Белорусский вокзал» и «Время желаний» были именно такими.

Прошло несколько минут, но Харлампий Иванович не спешил с рассказом. Он медленно потягивал воду из кружки. Делал паузу между глотками. Я подумал, что фронтовик набирается сил перед рассказом.

— Войну с немцами я закончил в Германии под Кенигсбергом, а потом была Япония. Воевать с самураями недолго пришлось, почти месяц, и никакой великой армии страны восходящего солнца не стало. После Маньчжурской операции от хваленной Квантунской армии ничего не осталось. Япония капитулировала, а вот на территории Маньчжурии оста-

лись военные объекты, один из которых мы взяли под контроль. Мне после Хиросимы и Нагасаки даже жалко было японцев, они, в сущности, неплохой народ, хотя нам тогда было понятно, что этот ядерный удар был не для японцев, а для нас, для СССР. Американцы нас так в августе 1945 предупредили, так сказать, запугать хотели, нас... Победителей! Я после войны читал мемуары Георгия Константиновича, и на всю жизнь запомнил, и вам советую детям и внукам своим передать, что в мае 1945-го в Берлине Жуков сказал: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не просят». Запомните, все беды в мире с Европы начинались и Европой закончаты. В мире тишины было всего 26 дней за весь двадцатый век, всего 26-ть после окончания войны, а нам, русским, никто покоя не давал, никакой тишины. Все время борьба, борьба за выживание страны и народа. Это наш земной крест.

Харлампий Иванович откинулся на подушку и замолчал.

— Дедуль, может, воды еще принести? — спросил Лешка.

— Принеси, — ответил Харлампий Иванович и движением руки по-дозвал меня.

— Подними меня и подушку, подушку повыше сделай, — попросил он.

С кухни вернулся Лешка и поднес кружку с водой деду. Пил он опять нерасторопно.

— Так вот, природа там, в Маньчжурии, особенная. Редкой красоты, страна-то горная, чистейших рек много вокруг. Кедровые высокие, раскидистые ели, большие дубовые леса и смешанные тоже немаленькие, а в них — лиственница, клен, ольха, сирень. Осень была такая красивая. Скалы кругом, развалы горные, луговые долины и воздух сыроватый. Мне тогда показалось, что я от войны теперь смогу навсегда избавиться и ничего никогда не вспоминать.

Вот в этот день мы и оказались на складе Квантунской армии. Чего там только не было! Оружие, боеприпасы, провиант, обмундирование. Я уже старшим сержантом был, и в первое ночное охранение выставили только опытных солдат. Еще особист приезжал нас выбирать и инструктировать насчет провокаций.

Стемнело быстро. И уже от спокойного времени без фронтового грохота начало клонить в сон — и не только меня. Вдруг слышу шум под забором. Роеет кто-то. Посветил фонариком, и ко мне ребята устремились. Ждем. Вот и руки показались, и голова, а дальше мы помогли гостю выбраться. Все как положено: отвели к дежурному офицеру и вернулись. Прошло полчаса, и вновь в этот подкоп еще один, а за ним еще и еще. Мы уже стали не успевать их задерживать. И так по всему периметру ограждения. Один подкоп за другим...

Харлампий Иванович замолчал. Он смотрел куда-то вдаль и, казалось, не замечал нас. Где он был? Мысленно оказался в той маньчжурской ночи или думал о фронтовом товарище — было не понять.

— Потом нам отдали приказ. Мы больше никого не задерживали. Стреляли сразу, как только видели пытающихся проникнуть на охраняемую территорию людей. Как правило, достаточно было одного выстрела в голову. Приказ есть приказ. Случаи паники, трусости, неорганизованности и дезертирства и другие так называемые позорные явления военным трибуналом карались сурово: осуждали и приговаривали к высшей мере, к лишению свободы на разные сроки предостаточно. Только остановить этих азиатов, казалось, невозможно. Они настырные, я бы сказал, упертые, казалось, нет у них чувства страха. Раненых и убитых из под-

копов вытаскивали, а другие заново лезли. Словно по команде с разных сторон. Сплоченный народец. Только с рассветом они уступили и отошли. Нас же немного на объекте было. Утром приехало начальство, особисты, два генерала обсудили все произошедшее и всех нас отправили на демобилизацию. Но в памяти как-то осталось, и на душе нехорошо. Они ведь были безоружные, а я стрелял и стрелял. Вот об этом и многом другом я отцу Виктору и рассказал. Мы хоть до войны в Бога и не верили, но крещеных много было, а как по-другому? Наша основа.

Мы молчали. Это было не разочарование рассказом, а одно из первых столкновений с правдой, о которой мы ничего не подозревали.

Харлампий Иванович попросил помочь ему прилечь, поправить подушку и положить ее горизонтально. Мы смотрели на него, но он словно не видел нас. Лешкин дедушка то закрывал, то открывал глаза и смотрел ввысь. Он почти не моргал, и только ресницы слегка подергивались, и крохотные слезы катились из его глаз.

— Витя, друг мой госпитальный, что священником стал, как и я, всю войну прошел, в запас увольнялся, от спасителя Ленинграда маршала Говорова грамоту получил. Чтобы знали вы, Говоров, Царствие ему Небесное и пресветлый рай, с офицерами своими во время блокады на службы в Николо-Богоявленский собор приезжал. Такой вот маршал был, да и если не все, то многие в Бога верили: и Толбухин, и даже сам Жуков.

Мы переглядывались с Лешей и недоумевали: «Разве советские маршалы, герои войны могли верить в Бога?» Этот вопрос остался для нас открытым.

— Я с Витей как-то потерялся, только во второй половине пятидесятых случайно узнал, что он духовную академию закончил, кандидатом богословия стал, а потом и монашество принял. Стали его называть Алексием, я и тебя просил в честь товарища моего фронтового назвать, внучок. Его уже, наверное, и в живых нет, скоро встретимся с владыкой Алексием, как тогда под Ленинградом, и молодыми будем, как тогда, и земле нашей еще с того света послужим. Так что у тебя с владыкой один небесный покровитель, и сам владыка Алексей за тебя Господа молит. Владыка, брат мой фронтовой всю жизнь в сражениях земных и небесных, а победа наша над апостолами злобы неминуема, как нарком Молотов сказал в первый день войны: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами».

Лешка немного напугано смотрел на меня, и мы боялись даже пошевелиться.

— Знаете, как надо любить свою Родину? Как за нее стоять и мстить? — вдруг спросил нас Харлампий Иванович.

Мы ничего не могли ответить старому воину, мы даже не смотрели друг на друга, наши взгляды были устремлены на Харлампия Ивановича, а он вдруг начал читать вслух стихотворение:

Я проходил, скрипя зубами, мимо
Сожженных сел, казненных городов,
По горестной, по русской, по родимой,
Завещанной от дедов и отцов.

Запоминал над деревнями пламя,
И ветер, разносивший жаркий прах,
И девушек, библейскими гвоздями
Распятых на райкомовских дверях.

И воронье кружило без боязни,
И коршун рвал добычу на глазах,
И метил все бесчинства и все казни
Паучий извивающийся знак.

В своей печали древним песням равный,
Я села, словно летопись, листал
И в каждой бабе видел Ярославну,
Во всех ручьях Непрядву узнавал.

Крови своей, своим святыням верный,
Слова старинные я повторял, скорбя:
— Россия, мати! Свете мой безмерный,
Которой мезтью мстити мне за тебя?

Харламбий Иванович читал негромко, казалось, преодолевая боль, но в этом его тихом и суровом чтении было выражено все, что он хотел донести до нас.

— Это Сергей Наровчатов в 1941 году написал, поэт, фронтовик, всю войну прошел... запомните эти строки... я эти дни в первое военное лето на всю жизнь запомнил.

Наступило время тишины. Не было слышно ни единого звука, и больше уже ничто не напоминало о весне.

В этот момент мы услышали из прихожей голос мамы Леши, и через мгновение в комнату вместе с ней вошел священник.

КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ

— Да, — сказал Яков Андреевич, — в тот год весна была теплее обычного, как-то все играло и цвело. А офицеры-то те были штабные, они к Баклановым приехали, дом-то их видел? Знаешь?

— Ну да. Бабушка показывала, — с неохотой отвечал я. Этот город с деревянными покосившимися избами, в которых были перекошенные полы и белые печи, меня начинал раздражать. Зачем меня привезли сюда, я понимал, а общаться с незнакомым престарелым уродцем — было выше моего понимания. Меня, столичного подростка, пугала искалеченность старика. Да и вся эта прибранная полуищенская обстановка была не по мне. Его комната, маленький прямоугольник, отдавала больничной и заботливой ухоженностью.

— Где им, тыловикам, все это понять — застолие было у них бурное, жировали не один день, — продолжал рассказывать он. — Среди них и нашего брата-фронтовика — полтора человека, я особиста в расчет не беру: так, який всякий, гниль тыловая. Стол больно богатый у них был. Тушенка, понимаешь, и трофейная, и союзная, колбаса, шоколад, сахар, хлеб, мясо откуда-то взяли, а водки и джину — хоть залейся. Им-то, оглодам, почто знать про деток-то? Эти-то, шалопаи наши, такого пира уже несколько лет не видавали.

В углу, напротив его кровати, стояли деревянные ходули, убогие и ободранные, — вид искусственных ног пугал меня.

Он опять весело скривил губы, отстраненно посмотрел в окно и добавил:

— Вот как сейчас погода была, и, точно помню, седмица Светлая, пасхальная, вот как сейчас, только в сорок пятом. Томка, бабка твоя, послушная в детстве была. А Иришу, прабабку свою, ты помнишь?

— Помню, — раздраженно отозвался я.

— А сколько тебе годков сейчас?

— Шестнадцать.

В его жилище не было вещей, только кровать, стул и табурет. Потолок комнаты был правильной формы и стерильно-белый.

— Спор вышел среди детей, и очередь Томкина подоспела шкодничать, вот она и отважилась. Как стемнеет, по уговору с детворой надлежало ей подойти потихонечку к дому баклановскому и в форточку зашвырнуть кошку дохлую, — он как-то нерадостно усмехнулся. — Ну, так она и сделала, а офицерье-то совсем остервенело от выпитого за пару дней гуляний. Победители хреновы! Ну и высыпали все на улицу, давай стрелять. В воздух! В ребяtnю! Томка успела домой добежать, и, скорее всего, кто-то сказанул, что она такая смелая у нас. Вот они и ворвались, давай орать да грозить, охвостье тыловое, пока я с кровати не сполз. Я, кол им в дышло, эти страхи все в сорок третьем под Курском растерял, а вот пиджак, что Ириша мне к победному дню справила, сгодился, да и звезда эта спасла.

Я неожиданно обернулся и увидел на старом, но ухоженном пиджаке в темно-коричневую и черную полоску награды: орден Славы первой степени, орден Отечественной войны второй степени, медали «За отвагу» и «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». Все эти награды были боевые, они тускло сияли, словно угасали под тяжестью событий и лет. Заметил я и золотую полосу, а под ней две красных на правой стороне пиджака рядом с гвардейским знаком отличия. Я знал: эта полоса означает тяжелое ранение. Гражданский китель с боевыми наградами одиноко висел на деревянном стуле за моей спиной. Внимание было приковано к каждому слову, взгляду, шороху этого человека. Он выдохнул и утвердительно продолжил:

— Так повелось, что перелом в войне стали именовать коренным после Курской дуги. Только не ведали, что столетия назад под выжженным татарвой Курском была найдена икона Божьей Матери «Знамение». Образ прославлен как Курский и хранился в Коренной пустыни. Она, Спасительница наша, под Курском была, и перелом Курско-коренной — Пречистой Девы след.

Я, когда очнулся, не соображал ничего, контузило. Как танк наш подбили — помню, а вот как оказался на земле — нет. Встать не могу, и света белого не видно, только дым чернющий-пречернющий и огонь кругом. Все полыхает: люди, танки, земля, небо... А я лежу и молюсь. Как мать учила. А людей, да не людей даже, а мяса паленого — кругом столько... Все пережженной гарью человеческой пропахло.

Думал, в ад попал! Архистратига Михаила на помощь звал. Мать моя еще до первой войны с немцами была в Москве с барыней. На паперти Чудова монастыря в Кремле — в церкви Архангела Михаила — барыня прочла и мать мою заставила выучить молитву эту. Так меня смирению, терпению, мужеству поучали, это чувства великие Архангела Михаила. Он благодаря этой смиренной благодати победил врага рода человеческого. В детстве на горох меня ставила и на соль, если ее не пересказывал.

Вот я все ее и твердил и на столе операционном, когда бредил, и потом в госпитале, когда в себя приходил.

Фронтоник помрачнел, отвернулся к окну, перекрестился и начал бормотать. Я внимательно вслушивался в его шепот, следил за тем, как двигались его губы, глаза его были закрыты, а спустя некоторое время я смог разобрать часть произносимого:

«Господи Боже, Великий Царю Безначальный!

Посли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабу Твоему Иакову изъятии мя от враг моих видимых и невидимых.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле, демонов сокрушителю, запрети всех врагов, борющихся со мной, сотвори их яко прах пред лицом ветра...»

Он перестал бормотать. Перекрестился. Улыбнулся. Опять посмотрел в окно и тихо вымолвил:

— Не унывай, вдаль смотри, она всегда светлая. Главное — чтобы в сердце все хорошо, вот как сейчас на улице. Смотри, какая цветь нынче, как тогда, в сорок пятом, вот уж воистину благодать.

От этого маленького неказистого человека одновременно с тихим и трогательным его рассказом исходила напряженность, которую вдруг сменяла какая-то сверхъестественная доброта. Человеческое тепло, исходящее от него, словно распространялось по комнате. Я сидел напротив, не издавая ни звука, мне было страшно сделать любое движение, я словно прирос к табурету.

— Ну, а что там потом... Госпиталь, гангрена, вот ноженьки-то мои и оттяпали. А после госпиталя приехал я домой, а меня не ждут. Злыдни эти, — и он указал рукой на дверь, — они меня не приняли, да и кому я такой нужен-то... Жил я опосля на вокзале. Там Ириша, Царство ей Небесное, пресветлый рай, меня и подобрала.

Меня взяла оторопь, а он все говорил и говорил.

Вскоре подросла бабушка, которая все это время беседовала с дочерью Якова Андреевича. Она сидела напротив крохотного старичка и держала его руки в своих ладонях. Его мозолистые кулаки казались очень сильными и одновременно высохшими, изъеденные ногти были желто-коричневого цвета. Сидели мы молча, и только изредка крошечная слеза катилась по небритой щеке ветерана. Бабушка встала, подвела меня к нему, я смущался, обнимая его. Он показался мне очень крепким и одновременно маленьким, как шестиклассник. Рукой я коснулся небольшого бугорка на его спине. Вздрыгнул. Я гладил незнакомого человека, я гладил его горб. Он был стар, убог, сед, и он был велик. Старый солдат буквально вышел из огня, и мне казалось, что запах гари и пороха исходит от него. Я никогда не думал, что герой может быть таким! Этот маленький сгорбленный человечек обладал громадным чувством сердечности, он словно разгибался от этого ощущения. Яков Андреевич благословил нас, как-то вдумчиво посмотрел на меня и бабушку, потом еле слышно произнес:

— Желайте всем счастья и счастливы будете! Ну, ступайте с Богом.

Прошел год. Было холодно. В поезде бабушка вымолвила:

— Пасха ранняя, праздновать на снегу будем.

На вокзале я уговорил бабушку не заезжать на кладбище, а сразу навестить Якова Андреевича. Город детства моей бабушки показался мне мрачным, насквозь сырым. В день приезда мы узнали, что Якова Андреевича больше нет. Возвращаясь в Москву, глядя в окно поезда на леса и вымерзшие пустоши, окутанные снежным забвением, бабушка нашептывала молитву, которую я слышал от Якова Андреевича: «Избави мя, Великий Михаиле Архангеле, от всяких прелестей диавольских, егда услыша нас, грешных рабов своих Тамару и Александра, молящихся тебе и призывающих тебя и призывающих имя твое святое: ускори на помощь нам и услыши молитву нашу...»

ПЕРВЫЕ ОСЕНИНЫ

Я вслушивался в повествования о спаленном Тохтамышем, а затем Едигеем Звенигороде, о том, как Иоанн Грозный подарил звенящий город царевичу Муртазе-Али, о разорении «царской богомольни» отрядами Тушинского вора, о колокольном звоне, доносившемся до Первопрестольной, и когда запас терпения школьника был исчерпан, я вошел в комнату к засидевшимся мужчинам. Двоюродный брат мамы дядя Толя спросил:

— Что, Сашок, не спится?

Мой смуглый и приземистый родственник с ходу разогрел шашлык на сковороде, налил горячий чай с лимоном и придвинул кусок торта «Птичье молоко» в коробке и три яблока, а светловолосый сосед дядя Миша усмехнулся и, поочередно указывая на каждое яблоко, поведал:

— Желтое с кислинкой — это «китайка», а красно-зеленое и кисло-сладкое — это «жигулевское», а вот пряное, румяное, золотистое — это «осенняя радость».

У нашего благодушного соседа раскинулся громадный яблочный сад, где росло невероятное количество яблонь всех сортов, а на Яблочный Спас гостеприимный дядя Миша одаривал всех соседей и случайных гостей яблоками, раздавал он райские плоды ведрами.

Фиалковое облако окутывало комнату, мужчины сидели за столом, а круглолицый и словоохотливый дядя Миша, бойко жестикулируя, уже не останавливался:

— Война застала нас под Ельней, мы гостили у родственников мамы. Я ведь только после армии в Подмосковье обосновался, до войны мы жили в Иркутске на берегу Ангары. Никогда не забуду, как мы отступали вместе с частями Красной Армии. На километры растянулись колонны солдат и беженцев. Пылица, жара, запах пота, кирзы, лошадиного помета и дегтя сопровождали людской поток. Пыльная горечь осела в горле. Гимнастерки у мрачных солдат вымокли, каски болтались на ремнях и на вещевых мешках. Проезжавший мимо пожилой артиллерист усадил маму, сестренку и меня на телегу с амуницией и пытался нас раззадорить историями из жизни московского ломового извозчика. Веселили эти легенды только его, и он начал рассказывать о празднике первых плодов: август как раз подходил к концу. Я тогда впервые услышал о праздновании Преображения Спаса нашего Иисуса Христа. Усатый старик рассказывал, что под зрелой яблочной сенью к людям возвращаются покой и здоровье и происходит духовное преображение человека, а когда протянул мне и сестренке спелые яблоки, подмигнул:

— Вот съешь первое яблочко, и что надумано — сбудется, и что сбудется — не минуется.

Над нами закружила «рама», так в войну называли разведывательный самолет «фокке-вульф»¹, а спустя минуты три пожаловали «хейнкели»². Нашу колонну разбомбили. Все вокруг заволакивал едкий дым, исходящий из воронок, переполненных кровавой и грязной жижей, в которой навсегда исчезли моя мама и сестренка. Меня, оглушенного, с осколочным ране-

¹ «Фокке-вульф» (нем. *Focke-Wulf FW-190 «Wurger»*) — немецкий истребитель, состоявший на вооружении люфтваффе во время Второй мировой войны.

² «Хейнкель» (нем. *Heinkel*) — немецкий бомбардировщик, один из основных бомбардировщиков люфтваффе во Второй мировой войне.

нием, подобрала и выходила бабушка из соседней деревни. Так я очутился на оккупированной территории. Старушка укрывала меня от немцев, опасаясь, что, как и всю молодежь деревни, меня угонят в Германию или отправят в концлагерь. Поодаль от моего укрытия был разваленный храм, куда фашисты согнали так много народа, что всю ночь перед отправкой в Неметчину люди простояли, а обессиленных и разговорчивых расстреливали на погосте. Морозную и голодную зиму я просидел в подполе, там меня, вшивого и сонного, искушали крысы. Так что как трясет, сжимает виски, как ломит кости, я знаю не понаслышке. Тиф уничтожил меня, старушка, посчитав, что я умер, позвала деревенского батюшку. Отец Зосима пришел меня отпевать, а я перед панихидой издал какой-то звериный вопль. Черноризец³ унес меня к себе и вылечил, читая днем и ночью молитвы под сводом разрушенного храма Преображения Господня. Только к августу сорок второго, как раз на Яблочный Спас, я выздоровел. В сорок третьем Ельню и прилегающие деревни освободили; в сорок четвертом по приказу от двадцать пятого октября меня призвали в армию. Последний призыв! Как я ждал этого призыва! Я же по отцу потомственный казак, даже родился неподалеку от приграничной Цурухайской крепости. В лютом ожидании я десятки раз перечитывал статью Ильи Эренбурга «Убей!» Я выучил ее наизусть! Я ждал своего часа! Перед сном, вспоминая своих, я повторял как молитву: «Убей немца!⁴ — это просит старуха-мать. Убей немца! — это молит тебя дитя. Убей немца! — это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!»

Перед уходом на фронт я зашел к своей спасительнице. Она все плакала, жаловалась: уходя, немцы забрали у нее двух жеребцов, которых она спасла в сорок первом во время отступления Красной Армии в поле под бомбежкой. Немцы взамен оставили старушке хлипкую кобылицу, она выходила больную лошадь, а теперь драгоценную клячу реквизиrowали советские воины.

— Как жить? Как жить, родненький? — вопрошала старая плакида.

— А кто такая плакида? — неожиданно для самого себя спросил я.

Дядя Миша с интересом посмотрел на меня и с улыбкой прочел:

Пока ж — идет метель.
И тысячей дьячков
Поет она плакидой —
Сволочь-вьюга.
И снег ложится
Вроде пяточков,
И нет за гробом
Ни жены, ни друга.

— Это Есенин, Сашка, запомни — Есенин! Великий мужик был... а плакида — женщина, которая плачет или от горя, или за деньги на похоронах.

Так вот, когда я покидал монашеское жилище, радетельный монах глянул на меня и едва слышно напутствовал:

³ Черноризец — чернец, монах.

⁴ «Убей немца!» — советский пропагандистский лозунг периода Великой Отечественной войны, стихийно появившийся в июле 1942 года и поддержанный советской пропагандой для активизации ненависти к оккупантам. В основу лозунга была положена публицистическая статья Ильи Эренбурга «Убей!» от 24 июля 1942 года.

— Вспоминай о геенне и ненавижь дела, влекущие в нее.

На фронт я попал в начале сорок пятого, воевал и служил в Германии. Навсегда запомнил дождливую ночь на Первые Осенины перед самой демобилизацией. В казарме мы засиделись допоздна, выпивали, а потом вспомнили о празднике, на который положено освящать яблоки. Служил с нами сержант родом из Задонска, воевал с шестнадцати лет, он быстро собрался, пообещал мигом вернуться и рванул за территорию части, бросив напоследок: «На второй Спас и нищий яблочко съест».

Недалеко от наших казарм был родовитый яблочный сад, он необычайно расцвел в то лето, вот за поспевшими яблоками сержант и махнул. Мы заговорились, а потом, глядя на часы, спохватились, что сержанта нет уже около часа, ринулись в сад. В общем, там мы его и нашли. В середине сада он был повешен на самом большом дереве, а руки его веревками были привязаны к рядом стоящим яблоням. Получилось веревочное распятие. Под яблочным шатром сержанту распорол живот, а когда мы снимали его с дерева, из раны вываливались окровавленные яблоки. С нами служил шустрый паренек из кубанских казаков, так вот он первым добежал до наших танков, потом подспели и мы. В ту карамазую ночь в пригороде небольшого немецкого города не осталось ни одного дома, ни одного живого человека, мы до утра уютжили аккуратные домики и гостеприимных жителей. Обрушился мощный ливень, и весь поселок под тяжестью танков постепенно утопал в слякоти. Управляя боевой машиной, я вспоминал, как скобами к воротам солдаты армии фон Клюге прибывали изнасилованных женщин в сорок первом, а я прятался в подполе и дрожал от страха и холода в окружении гнилых яблок и прыгучих крыс. Пластун⁵ не забыл, как после освобождения родной станицы рыдали казаки, обнаружившие поседевших жен, которые в безумии смотрели на утопленных в колодцах младенцев. Мы хотели только одного: мы хотели, чтобы Германия исчезла с лица земли! Чтобы никогда пережитого нами никто больше не смог прочувствовать. Да и всех этих Померанцев⁶ и вообще всех обвинителей — в одну яму бы с немчурой прикапывал, не люди они для меня, так, посконь⁷ жженная.

Раздухарившийся сибиряк замолчал. Я сидел рядом и сжимал рукоятку охладевшей чугушной сковороды, смотрел на остывшее мясо, холодный чай, нетронутый торт и яблоки.

Дядя Толя стоял у окна вполоборота, покосившись, спросил:

— Всех? Женщин? Стариков? Детей?

— Всех, до единого, — ответил взмокший сибиряк.

— Судили или замяли?

— А ты знаешь, дела никакого и не было. Нашу часть мгновенно передислоцировали, а меня и всех наших ребят демобилизовали. Вообще до этого случая в яблочную ночь было установлено правило, которое строго выполнялось. В случае половой связи с немками солдат или офицер был

⁵ Пластун (от *пласт*, *пластоваться* — ползти, ползать) — пеший казак в кубанском (ранее черноморском) войске из особой команды, несшей сторожевую и разведывательную службу на Кубани (*ист.*).

⁶ Померанц Григорий Соломонович — российский философ, культуролог, писатель, эссеист, член Академии гуманитарных исследований. Участник Великой Отечественной войны.

⁷ Посконь — мужская бесплодная особь конопли с тонким стеблем, из которой вырабатывается тонкое волокно.

обязан мгновенно поставить в курс об эпизоде начальство, и его отправляла на родину. Если обращалась немецкая женщина, которая указывала на случай насилия, то перед ней выстраивали весь личный состав части, а она должна была опознать подозреваемого. В этом случае назначалось расследование. Этот приказ осуществлялся неукоснительно после нескольких происшествий. Ведь проблема имела оборотную сторону: на тот период в большинстве случаев никакого насилия не было. Расчетливые немецкие женщины умело мстили Красной Армии за погибших мужей, братьев и сыновей. А трибунал в послевоенные годы был суров!

Молчание длилось минуты три-четыре, как вдруг наш розоволицый сосед неспешно, почти шепотом вымолвил:

— Прощать как научиться? Без этой науки Спаситель может не принять, вот что устрашает.

Я ощутил тягучий взгляд родственника, в котором, казалось, отразилось все: самоубийство деда во время ареста лубянскими опричниками, смерть отца, отсидевшего по пятьдесят восьмой на Соловках и выпущенного по активировке, хоккейное и краслаговское прошлое самого дяди Толи. Он как-то настороженно спросил:

— А не засиделся ли ты, Сашок?

Я молчал. Он не отводил взгляда, я встал, а на пороге комнаты случайно задел большую плетеную корзину, из нее вывалились и раскатились по всей комнате яблоки. Я смотрел на багровые, янтарные плоды, и мне померещились людские головы, наши танки — и веревочное распятие.

Дождь усиливался, ветки яблонь бились о стекла, было слышно, как на землю падали наливные плоды, а из комнаты все еще доносились разговоры о звенигородской баталии и явлении преподобного Саввы принцу Богарне во время французской кампании, о звенигородском мятеже времен военного коммунизма, о второй трудовой коммуне ОГПУ.

